

Б. Б. ГОМИДЕ

**ЛИХОРАДКА И МИКРОСКОП:
ДОСТОЕВСКИЙ В БРАЗИЛИИ 1930-х гг.**

1930-е гг. в Бразилии отмечены всплеском интереса к творчеству Достоевского, и этот интерес в последующее десятилетие только продолжал расти. С одной стороны, увеличивалось количество восторженных отзывов, многие пытались подражать Достоевскому; наряду с этим появлялись подробные аналитические разборы, писатели старались избегать прямых заимствований, апеллируя к произведениям Достоевского в более утонченной форме. Эти тенденции в некотором смысле дополняли друг друга, как если бы в результате большого количества лихорадочных, спешных и претендующих на полноту прочтений возник многообразный и разнородный культурный дискурс, обеспечивший более сдержанный анализ вопроса.

Перемены, через которые прошла бразильская культура в 1930-е гг., когда в стране была уничтожена Первая республика и утвердились новые формы государственной власти, описаны в классическом эссе А. Кандидо¹. В это время заметно вырос бразильский издательский рынок, который оказал особое влияние на восприятие русской литературы: если ранее число бразильских переводов было ничтожно малым (несколько изданий «Крейцеровой сонаты» и два-три тома сочинений Достоевского), то теперь оно резко увеличилось. Критик из Сан-Пауло Б. Брока с раздражением назвал этот феномен «славянской лихорадкой»: на португальский язык стало переводиться всё русское².

Помимо специфической издательской ситуации возникла благоприятная атмосфера для чтения и обсуждения русских писателей, которых ценили интеллектуалы как правой, так и левой политической направленности — в сильно поляризованном обществе того времени. Без сомнения, из всех русских писателей Достоевский оказал наибольшее

¹ *Candido A. A Revolução de 30 e a Cultura // A Educação pela Noite e Outros Ensaios. 2 ed. São Paulo, 1989. P. 181–198.*

² *Broca B. Crime e Castigo // Ensaios da Mão Canhestra. São Paulo, 1981. P. 73.* Более подробную информацию относительно восприятия русской литературы в Бразилии можно найти в книге: *Gomide B. Da estepe à caatinga: o romance russo no Brasil (1887–1936). São Paulo, 2011. О восприятии Достоевского в Бразилии см.: Гомиде Б. Краткая история восприятия Достоевского в Бразилии // Вопросы литературы. 2010. № 3.*

влияние на культурную жизнь Бразилии (на втором месте стоит Горький с особым влиянием на левые массы).

Хотя нетрудно найти высказывания по поводу величия Толстого и его имя многократно звучало в Бразилии в связи с социальной ориентацией так называемых «романистов 1930-х», коэффициент его цитирования в литературной критике первой половины данного десятилетия практически сводится к нулю. На фоне новых антигуманистических веяний³ гуманистический пафос его учения выглядит несерьезно. Достоевский же, наоборот, связан с главными эстетическими ориентирами современности. Практически во всех критических работах он стал собеседником Пруста, Джойса, Пиранделло (а в 1940-е гг. и Кафки). А. Ногейра в 1935 г. начал свое беспрецедентное исследование о Достоевском (первое опубликованное в Бразилии) с провозглашения его «преобразователем современной чувствительности». Отавио де Фариа видел в русском писателе «величайшего романиста всех времен и всех языков»⁴.

В количественном отношении неравнозначность ролей Толстого и Достоевского отражена в главных литературных периодических изданиях. В «Литературе, литературных новостях» («Literatura, As Novidades Literárias»), а также в «Бюллетене Ариэля» («Boletim de Ariel») монографических текстов о первом нет. И даже его имя упоминается весьма редко. Достоевский же если не является темой отдельной статьи, то цитируется в десятках текстов по самым разнообразным вопросам — от театра до новинок бразильской литературы.

В качестве лишь небольшого примера прибегнем к двум статьям 1930 г., написанным молодым критиком Э. Гомесом. В первой статье содержатся традиционные рассуждения о значении Толстого в общественной жизни и его роли в качестве учителя: его универсальности, вездесущности его образа, противоречивости личной жизни писателя и о последнем побеге. В тексте нет ничего, кроме набора давно сложившихся мифов⁵. В том же году Э. Гомес обращается к творчеству другого русского автора при обсуждении «Улисса»: «Имеющая место одержимость Достоевским заставляет предварить его признания следующими словами: „Заявляю, что читателей у меня никогда не будет. Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу“. Джойс, который придал особую форму внутреннему диалогу Достоевского, адаптировав его к авангардистской эстетике, мог бы вложить эти слова в уста Стивена Дедала. Эта книга воистину чудовищна, если принять во внимание все неприкрытое и подминающее под себя искажение, вложенное в нее автором»⁶.

³ См.: Понятие гуманизма: французский и русский опыт. М., 2006.

⁴ *Otávio de Faria. Mensagem Post-Modernista // Lanterna Verde. 1936. N 4. P. 51, 58.*

⁵ *Gomes E. Tolstói Visto pela Mulher // A Tarde. 1930. 5 abr.*

⁶ *Gomes E. Um Livro Monstruoso // A Tarde. 1930. 9 ago.*

В этом сравнении приемов Джойса и Достоевского нельзя не увидеть нечто более важное, чем простую дань коллекции анекдотов в случае с Толстым. Определенный литературный прием «Записок из подполья», переломного произведения в творчестве русского писателя, напрямую вливается в историю становления модернистской прозы.

Его влияние было настолько ощутимым, что некоторые эссеисты даже выражали недовольство повсеместным «увлечением» Достоевским, а также «имитаторами» русского писателя. В 1936 г. М. де Андраде жаловался на «моду на Достоевского», заведенную французами. В 1943 г. Р. Брага в рецензии на сокращенное издание «Дневника писателя» говорил, что «Пруст и Достоевский оказали наихудшее влияние на бразильскую литературу, в чем, впрочем, ни один из них не виноват»⁷. Комментируя книгу «Мраморная стена» аргентинской писательницы Э. Канто, М. Вернек в ноябре 1945 г. положительно оценивал тот факт, что она избежала «искушения тенью, столь привычного в наших суб-достоевских тропиках, которые скрывают жалкую бедность романной структуры, набросив на историю плотную вуаль тени, умалчивания и невысказанных загадок»⁸. Стоит также отметить, что все три упомянутых критика были большими ценителями Достоевского и русской литературы в целом.

С точки зрения литературной критики Достоевский подвергся значительной переоценке. Старания исследователей были направлены на попытки разделения, различения, уточнения классификаций; было выражено также беспокойство по поводу слишком поспешных обобщений. «Непонимание», «недостаточность», «неосторожность» — вот термины, которых становится всё больше в критических работах, публикуемых бразильскими эссеистами.

Этому, несомненно, способствовал рост библиографического материала. Конечно, в 1930-е гг. ни одна книга не пользовалась такой популярностью, как в предыдущее десятилетие известная работа Вогюэ⁹. Бразильские критики теперь обращались к тому или иному эссе. Например, А. Ногейра¹⁰, во многом ориентируясь на статьи Бердяева, предпочел С. Цвейга¹¹ книге О. Кауса¹². А. Мейер в статьях о Достоевском, которые будут проанализированы ниже, использовал библиографический репертуар, несводимый к какому-либо одному подходу к творчеству Достоевского. Если в конце XIX столетия К. Бевилакуа

⁷ Braga R. O diário de Dostoiévski // *Leitura*. 1943. N 5. P. 16.

⁸ Werneck de Castro M. O muro de mármore // *Leitura*. 1945. N 35. P. 41.

⁹ Vogüé M. Le roman russe. P., 1886.

¹⁰ Nogueira H. Dostoiévski. Rio de Janeiro: Schmidt, 1935.

¹¹ Работы Стефана Цвейга пользовались большой популярностью в бразильских литературных кругах и постоянно цитировались в связи с Толстым и Достоевским (например: Zweig S. Dostoiévski. Rio de Janeiro: Guanabara, 1934).

¹² Kaus O. Dostojewski: zur Kritik der Persönlichkeit, ein Versuch. München: R. Piper, 1916.

и другие критики вынуждены были строить свои рассуждения в границах, очерченных Вогюэ, то в 1930-е гг. ссылок стало заметно больше.

А. Бранко, писатель из штата Алагоас, отзывался о Бердяеве довольно сдержанно. Он увидел в размышлениях Бердяева¹³ лишь историю идей, один из вариантов прочтения Достоевского, который вполне может быть сопоставлен с другим и у которого могут быть свои преимущества и недостатки по сравнению, например, с мнением А. Жида: «В анализе мировоззрения Достоевского, предложенном Бердяевым, не всё является для нас новым. Он ошибся, не процитировав (и ошибся еще более, если не читал) работы Андре Жида. Как и Бердяев, Жид ставит „L'esprit souterrain“¹⁴ на вершину творчества Достоевского и доказывает, что „ce n'est pas à l'anarchie que nous mène Dostoïewski, mais simplement à l'Évangile“¹⁵, утверждает, почти в тех же выражениях, „qu'il ne connaît pas d'auteur plus chrétien et moins catholique“¹⁶, подчеркивает непоследовательность персонажей Достоевского, которые „cedent complaisamment a toutes les contradictions“¹⁷, а также выделяет их двойственность, которая кажется борьбой между божественным и inferнальным началом, происходящей в их душах. Но так как Жид француз, он остается на психологической почве. Достоевский интересует его лишь как романист, как создатель исключительных душ, сложных и почти таких же реальных и правдоподобных, как и души настоящие. Для Бердяева же Достоевский прежде всего „métaphysicien“, крупнейший русский метафизик. Кстати, мой дорогой друг Тео Брандао, никогда не читавший Бердяева, в разговоре со мной сообщил... не без некоторого сладострастия критического проникновения, об этом достойном восхищения религиозном смысле Достоевского, который приносится в жертву чисто эстетическому взгляду некоторых читателей»¹⁸.

Увеличивалось также и количество биографий русских писателей, а значит, и объем достаточно противоречивых сведений, на которые могли опираться эссеисты. Ставший впоследствии довольно известным А. Труайя еще не был в ходу. Но уже были опубликованы, например, книги А. Г. Достоевской¹⁹ (рецензия Л. М. Перейры²⁰) и А. Левинсона²¹, рецензию на которую написал М. О. де Алмейда²².

¹³ *Berdiaev N. L'esprit de Dostoïewski. Paris, 1929.*

¹⁴ Дух подполья, буквально — подземный дух (*фр.*).

¹⁵ Достоевский ведет нас не к анархии, а всего лишь к Евангелию (*фр.*).

¹⁶ Что не знает в большей степени христианского и в меньшей степени католического автора (*фр.*).

¹⁷ Покорно поддаются всем противоречиям (*фр.*).

¹⁸ *Branco A. Notas Sobre o Espírito de Dostoïewski // A Novidade. 1931. Ago. N 17. P. 8.*

¹⁹ *Dostoïevskaia A. G. Dostoïewski, par sa femme. Paris: Gallimard, 1930.*

²⁰ *Pereira L. M. A propósito de Dostoïévski // Pereira L. M. A leitora e seus personagens. Rio de Janeiro, 1932.*

²¹ *Levinson A. La Vie Pathétique de Dostoïevsky. Paris: Librairie Plon, Le roman des grandes existences, 1931.*

²² *Almeida M. O. André Levinson — La vie pathétique de Dostoïevsky // Boletim de Ariel. 1931. dez. N 3. P. 5.*

Таким образом, ощутимая перемена в умонастроении критиков касалась Вогюэ и некоторых его наиболее известных высказываний. С появлением новых тем и книг снизилось и влияние Вогюэ, ощущавшееся в статьях бразильских критиков после выхода эссе «Русский роман» («Le Roman russe», 1886). Как сказал писатель О. Монтенегро по поводу офранцуженной атмосферы *belle-époque* в Бразилии времен Первой республики (1889–1930), «тем, кто привык — и с таким наслаждением! — к благоразумной жизни, жизни между стаканом молока и водой „Vichy“, трудно почувствовать и полюбить наполовину бевосовских, наполовину ангельских персонажей романов Достоевского»²³. В 1930-е гг. французский эссеист стал мишенью для шуток, высмеивающих клише патетических выступлений предыдущих десятилетий. А. Гриеко отметил эти клише в творчестве романиста Ж. Л. до Рего, который обратился к теме проституции без всяких сантиментов, однако в его произведениях нет «никакой Соны, которая могла бы спровоцировать тирады о религии человеческого страдания»²⁴. По словам Г. Рамоса, для написания романа нет необходимости в живописной реальности. Предложенные условия повсюду одинаковы, и их преобразование зависит от таланта и усилий каждого отдельного писателя. Таким образом, «ясно, что окружающие нас создания — люди самые обыкновенные, вполне возможно, что Раскольников и Соня Достоевского в реальной жизни были бы типичным убийцей и никчемной проституткой, в которых не было бы никакого величия. Может быть, увидев самих себя на бумаге, они бы и не узнали себя»²⁵.

В статье Дионелио Машадо «О происхождении знаменитого романа» разобраны некоторые тезисы Вогюэ. Широко известно высказывание Вогюэ, в котором он сближает «Преступление и наказание» с «Макбетом»: русский роман является «самым глубоким исследованием преступления» со времен трагедии Шекспира²⁶. Действительно, говорил бразильский писатель, такая точка зрения достаточно справедлива, она полностью подтверждена психиатрией, и об этом было много написано. Но, несмотря на видимое согласие, Дионелио Машадо сделал некоторые уточнения: «Банальное сближение, сделанное виконтом де Вогюэ, „Преступления и наказания“ и „Макбета“, то есть шедевра современной аналитической литературы и самого полного пособия по психологии, которое, возможно, было создано Вильямом Шекспиром, — так вот, это сближение, как нам кажется, не ограничивается только мастерством, с которым написаны обе трагедии (а именно оно занимает Вогюэ). Нет, речь идет о чем-то большем, о глубоком сродстве»²⁷.

²³ Montenegro O. Dostoievski // Retratos e Outros Ensaios. Rio de Janeiro, 1959. P. 22–35.

²⁴ Grieco A. Gente Nova do Brasil. Veteranos — Alguns Mortos. 2 ed. Rio de Janeiro, 1948. P. 18 (данный отрывок был опубликован в 1934 г.).

²⁵ Ramos G. Um Romancista do Nordeste // Literatura. 1934. 20 jun. N 18. P. 10.

²⁶ Machado D. Sobre a gênese de um romance célebre // O Jornal. 1930. 31 ago.

²⁷ Ibid.

Здесь просматривается нечто гораздо большее, чем предполагала криминальная психиатрия. Более сложные связи между двумя произведениями можно исследовать только с литературной точки зрения. И в аспекте, отличном от того, в котором видел своих героев Вогюэ: «Однако, как увидит читатель из нижеследующих рассуждений, писатель (Достоевский), который по преимуществу отражает „натуралистический“ дух нашей литературной эпохи, „que va révolutionner toutes nos habitudes intellectuelles“²⁸, во благо своей работы также отправился на поиски более изобильного и щедрого источника вдохновения, вдали от привычной ему реальности»²⁹.

Это основополагающий тезис. Открытия Вогюэ не исчерпывают художественных открытий русского писателя, хотя виконт активно пропагандировал его творчество и оказал серьезное влияние на бразильскую литературную критику. Художественный мир Достоевского строился как на контакте с конкретной реальностью, так и на столкновении с другими, самыми разными литературными текстами. «Литература никогда не сможет отказаться от литературы», — утверждал Машадо. Он предложил *микроскопический* метод, чтобы на основании минимальных признаков исследовать литературное происхождение «Преступления и наказания». Важны не этнические или социальные факторы: искусство русского писателя, по мнению Машадо, родилось не под давлением самодержавия, нельзя сказать, что оно имело этническое происхождение, как не было оно и потоком самовыражения автора. Процесс работы над романом необходимо воссоздавать путем филологического анализа малозаметных интертекстуальных признаков, проверяя при помощи сравнительно-исторического метода в том числе и наличие аллюзивного шекспировского плана.

Другой эссеист, изучавший творчество Достоевского и русскую литературу через подобную призму, — У. Соарес (р. 1893), архивист из Святого Дома Сострадания в Рио-де-Жанейро, автор различных статей и эссе в периодических изданиях 1930–1940-х гг. Несмотря на активную писательскую работу, его имя не закрепилось в истории литературы. В свое время усилия Соареса нашли некоторый отклик в связи с исследованиями польской культуры. Книга «Вопрос Верхней Силезии»³⁰, участие в польско-бразильском обществе «Kościuszko», а также тексты о культуре, литературе и истории страны принесли ему медаль польского правительства «Академические лавры». И хотя награда пришла с родины Мицкевича, Соарес публиковал много работ и о русской литературе.

Соарес стремился в почти дидактической манере обличить общие заблуждения и стереотипы, сложившиеся в отношении произведений

²⁸ Который перевернет все наши интеллектуальные представления (*фр.*).

²⁹ Ibid.

³⁰ Soares U. A questão da Alta Silésia. Rio de Janeiro, 1921.

русских писателей. Он приводил примеры характерного для критиков данного десятилетия внимания к мелочам. В качестве альтернативы Соарес предложил тщательное изучение библиографии и предупредил читателя о необходимости соблюдения точности в ссылках на факты русской истории. У самого Соареса это не всегда получалось: его сведения о реалиях русской жизни были недостаточны, но тем не менее он чаще попадал в цель, чем ошибался.

Его беспокоило, что Достоевского (как и других русских писателей) считали чуть ли не святым мучеником от левых сил — такая карикатура была хорошо известна в латиноамериканской радикально настроенной среде. Соарес напоминал, что в определенный период своей жизни русский писатель «горячо боготворил самодержавие»³¹. В ответ на высказывания Ж. Жобима он писал: «Что касается причины приговора Достоевского, которая, как считает Жобим, крылась в издании одного словаря (?!), в этом определено есть что-то странное. Жобим основывается на кинематографической фабуле. Приговор Достоевского стал результатом его участия в тайном обществе, обществе Петрашевского, куда он принес знаменитое письмо Белинского Гоголю... Я не считаю „Записки из Мертвого дома“ революционной книгой, а прежде всего считаю ее христианской. Что касается богатства (?!) и известности Достоевского, обе эти характеристики совершенно отсутствовали в его жизни»³².

Несмотря на кажущуюся близость данного рассуждения Соареса антикоммунистическим выпадам, его цели не совпадали с католическим или интегралистским³³ уклоном. Рецензия, написанная им о книге Б. Перейры «Бразилия и антисемитизм», и статья «Учение ненависти» показывают, что Соарес решительно отрицал любой филонацизм, шовинизм, а также реакционные и антисемитские идеи³⁴. В то же время он называл Писарева «блестящим памфлетистом и писателем»³⁵ и следующим образом отзывался о Бакунине: «Тот, кто в наши дни захотел бы обратиться к изучению интереснейшей личности Бакунина, объективно проанализировав его важную роль в движении социального обновления XIX в., крайне удивился бы нынешнему странному забвению этого великого русского»³⁶. Восхищение этими историческими персонажами было невозможно для католиков правого толка в 1930-е гг. Хотя нападки на «красного» Достоевского имеют много

³¹ Soares U. O liberalismo político de Dostoiévski // Boletim de Ariel. 1932. Out. N 1. P. 8.

³² Soares U. Cavaco com José Jobim // Boletim de Ariel. 1937. Out. N 10. P. 10.

³³ *Интегрализм* — политическое течение в Бразилии 1930-х гг., которое во многом совпадало с фашизмом (и потому было радикально антикоммунистическим и антисоветским). Лидер движения — Плинио Салгадо.

³⁴ Soares U. 1) Baptista Pereira — O Brasil e o Anti-Semitismo // Boletim de Ariel. 1934. N 4. Jan. P. 12; 2) Doutrina de ódio // Boletim de Ariel. 1934. Maio. N 10.

³⁵ Soares U. Cavaco com José Jobim // Boletim de Ariel. 1937. Out. N 10.

³⁶ Soares U. Michel Bakounine — Confession // Boletim de Ariel. 1932. Nov. N 2.

общего с антикоммунистическими высказываниями католического критика Т. да Силвейра, по сути это разные явления. Соарес считал неверным такой взгляд на Достоевского по той причине, что это не соответствовало мировоззрению русского писателя; мнение критика шло вразрез с магистральными исследованиями.

Наверное, самое интересное аналитическое высказывание этих лет о Достоевском принадлежит критику А. Мейеру. В 1935 г. он сравнил Достоевского с Машаду де Ассисом, главным бразильским писателем и крупнейшим латиноамериканским романистом XIX в. Русский и бразильский писатели традиционно считались антиподами, чему подтверждением были их темпераменты, биографии, сочинения и отношение к национальной идее. Сравнение действительно было смелым. Никому из критиков и в голову не приходило сделать подобное прямое сопоставление. И это притом что в те годы сравнение с Достоевским было одним из наиболее частых. В творчестве буквально всех новых писателей (и некоторых их ближайших предшественников — например, Лима Баррету, в чем творчестве, по мнению критиков, ощущалась «подпольность» Достоевского) искали свидетельства влияния русского писателя. Выявление сходства с Достоевским было до некоторой степени ожидаемым. Но только не в отношении к «Посмертным запискам Браза Кубаса» (1881) Машаду де Ассиса. Люсия Мигель Перейра, большая поклонница и русского, и бразильского писателей, за несколько месяцев до эссе «Машаду де Ассис» Мейера отрицала возможность какого-либо сходства между Достоевским и Машаду де Ассисом: «он был спокойным, неспешным, лишенным страстей, без тех резких скачков и неравномерностей, которые преследовали Достоевского»³⁷.

Сегодня понятно, что Мейер сделал открытие. Чтобы объяснить его суть, прибегну вновь к Л. Мигель Перейре. В рецензии на только что выпущенную книгу³⁸ она следующим образом подвела итоги темы «подпольного человека», назвав работу Мейера лучшей из всего написанного по этому вопросу. «С самого начала он разрушает представление о Машаду как о „спокойном человеке, которому было присуще равновесие и умеренность, внимательном и дружелюбном скепнике, почти анатолийце“, чтобы превратить его в законного брата Ордынова и „подпольного человека“»³⁹. Этот Машаду де Ассис значительно отличался от того, которого сама писательница описывала несколько ранее.

Можно сказать, что Мейер произвел революцию в изучении творчества Машаду де Ассиса. Чтобы мы могли лучше понять, что было поставлено на кон, обратим внимание на *вторую* составляющую срав-

³⁷ Miguel Pereira L. Machado em Síntese // A Leitora e Seus Personagens. Rio de Janeiro, 1992. P. 197.

³⁸ Meyer A. Machado de Assis. Porto Alegre, 1935.

³⁹ Miguel Pereira L. As Almas Exteriores de Machado de Assis. P. 199.

нения. Эссе 1935 г., было также важным этапом медленного и сложного приближения к Достоевскому, предпринятого в начале десятилетия и продолженного в последующие годы. Эссе «Подпольный человек», триумфально открывавшее книгу «Машаду де Ассис» (1935), предшествовало новому прочтению русского романиста.

Начало было положено в публикациях Мейера «О Достоевском» и «Заметка о Достоевском», которые появились в газете штата Риу-Гранди-до-Сул⁴⁰. Эти публикации стали основой эссе «Всегда Достоевский», изданного в 1947 г. в книге «Под тенью книжной полки»⁴¹. Последняя версия существенно отличалась от ранних.

В «Заметке...» речь шла о лингвистической и эстетической проблеме, которую Мейер назвал «литературным преобразованием». Похожую озабоченность высказывал и Машаду де Ассис: он говорил о том, что созданная в «Преступлении и наказании» реальность имеет мало общего с наблюдаемой нами реальностью, она скорее сродни трагедии Шекспира. Мейер обратился к роману «Бесы», поводом к написанию которого было политическое преступление Нечаева. В этом романе, говорил критик из Риу-Гранди-до-Сул, создана специфическая реальность, смешивающая литературу и метафизику, выходящая за пределы политической турбулентности в России конца 1860-х гг. Необходимо изъять Достоевского из мира обыденных страстей и бросить его внутрь лабиринтов собственных произведений.

Преобразовав политический факт, Достоевский реформировал заодно и литературные жанры, бывшие в моде в 1860–1870 гг. «Заметка...» открывалась упоминанием о статье В. Познера, в которой устанавливалась связь произведений Достоевского с приключенческим и готическим романами. Согласно Мейеру, повествовательная интенция «Бесов» состоит в преодолении газетного романа. «Перипетии уголовного дела, почерпнутые из судебного процесса и газетных публикаций, могли превратиться в неправдоподобный роман»⁴². Имея в руках такой материал, писатель рисковал создать еще одно псевдорусское «нигилистическое» повествование. Однако в романе Достоевского газетная развязка растворилась. В какой-то момент романтическая традиция преломилась и появилась «книга-чудовище»⁴³, в которой вращение персонажей вокруг метафизических проблем создало абсолютно неопределенную вселенную.

Согласно Мейеру, этот прорыв стал возможен благодаря «бессознательному творчеству». Именно оно привело к литературному преобразованию грубых и потенциально мелодраматичных газетных сведений в радикальный замысел «Бесов». Отступление от традиции ощущается особенно остро. Фактор «бессознательности» позволяет ощутить

⁴⁰ Meyer A. 1) Sobre Dostoiévski // Correio do Povo. 1932. 6 out. P. 10; 2) Nota sobre Dostoiévski // Ibid. 1935. 12 maio. P. 12.

⁴¹ Meyer A. À sombra da estante. Rio de Janeiro, 1947.

⁴² Meyer A. Nota Sobre Dostoiévski. P. 13.

⁴³ Ibid.

литературу таким полем, на котором правят независимые силы и которое невозможно свести к изначальным границам: «У меня сложилось впечатление, что Достоевский никогда не судит своих персонажей и никогда точно не знает, что они из себя представляют. Ведь сила бессознательного творчества создает между намерениями автора и сложностью интриги настоящую пропасть — психологическую неопределенность характеров персонажей. Отсюда ощущение жизненной наполненности образов: кажется, что герои живут сами по себе, без пуповины, во всех чувствуется потенциальная жизнь, которая готова проявиться в любой момент, мы никак не можем узнать заранее, каким будет их поведение на следующей странице, и это поддерживает в нас постоянный интерес. С другой стороны, это соответствует великолепному ощущению психологической достоверности»⁴⁴.

В 1938 г. статья Мейера появилась вновь, на этот раз в газете, издававшейся в Рио-де-Жанейро⁴⁵. Статья под названием «Об одной интерпретации Достоевского» была разделена на две части. Первая в точности повторяла текст «Заметки...» 1935 г.; вторая же была полностью новым текстом. В ней был продолжен разбор романа «Бесы» (дополненный размышлениями о «Преступлении и наказании»), но вначале подводился *итог процесса восприятия этого русского романа на Западе*. То есть, чтобы продолжить исследование, начатое в 1930-е гг., было необходимо просеять предыдущие интерпретации через сито современности. «Глубокая и запутывающая сложность» романа Достоевского «заставит любого неподготовленного читателя почувствовать нечто странное — в лучшем значении этого слова, — нечто новое и почти бесформенное».

«Перечитав его великие романы сейчас, мы начинаем понимать чаяния Вогюэ и благонамеренные старания первых переводчиков отрешать все ненужное.

Когда роман Достоевского начал завоевывать Западную Европу, ему служила паспортом лишь загадочная привлекательность экзотики; любопытным читателям он казался просто интересным литературным фактом той части Европы, которая, несмотря на разделяющую линию, отмеченную на карте пунктиром, простирается до границ крайней Азии. Но даже в адаптированном и иногда искаженном виде он закрался в души новых читателей с коварством токсина.

Уже прошли те славные времена, когда Достоевскому требовалось заручиться „одобрением“ Вогюэ, чтобы завоевать почитателей. В современной Европе, переполненной экзотической литературой, предостережение виконта братья за „Преступление и наказание“, вооружившись резиновыми перчатками и обеззараживающими средствами, кажется смешным»⁴⁶.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Meyer A. Sobre uma interpretação de Dostoiévski // O Jornal. 1938. 4 set. P. 20.

⁴⁶ Ibid. P. 20.

Даже с этим дополнением суть «Заметки...» в целом не менялась. Шагом вперед стала еще одна часть статьи, и теперь все три части были опубликованы в книге «Под тенью книжной полки»⁴⁷. В третьей части развивались идеи 1938 г.; в библиографии появился Р. Гуардини («наиболее значительный критический вклад последних лет»), ссылки на тома немецкого издательства «Piper und Co», включающие документальные материалы и комментарии В. Комаровича, и (может быть, самое важное) прекрасное эссе О. М. Карпо, опубликованное в его дебютной в Бразилии книге⁴⁸. В новой части статьи Мейер усовершенствовал эсхатологию своей аргументации, развивая идеи русского мыслителя Фёдорова.

На этот раз Мейер, вернувшись к старым текстам, внес в них изменения. Самое главное — был переработан параграф из «Заметки о Достоевском», в результате чего его смысл поменялся на прямо противоположный и в целом эссе приобрело новый смысл.

Вот отрывок 1935 г.:

«Психологическая оригинальность Достоевского зиждется на внимании к сложным сторонам внутреннего мира человека. Именно этим продиктованы замечательные образы пьяниц и лгунов. В Лебедеве, Мармеладове есть потенциальные качества, которые иногда выходят наружу и преобразуют их гротескные маски. *Во имя сострадания* Достоевский обратился к тем, кто оказался на самом дне, чтобы обнаружить чистоту души униженных и оскорбленных»⁴⁹.

Тогда как в 1947 г. он утверждал обратное:

«Психологическая оригинальность Достоевского зиждется на внимании к сложным сторонам внутреннего мира человека. Именно этим продиктованы замечательные образы пьяниц и лгунов. В Лебедеве, Мармеладове есть потенциальные качества, которые иногда выходят наружу и преобразуют их гротескные маски. *Не во имя сострадания, как хотели бы некоторые сентиментальные толкователи, а из-за жестокой ясности ума* Достоевский обратился к тем, кто оказался на самом дне, чтобы обнаружить чистоту души униженных и оскорбленных»⁵⁰.

В 1932–1935 гг. изменения литературных взглядов Мейера, как это видно на примере с Мармеладовым, происходило в связи с «высшим» вопросом — гуманного сострадания, основанного на «любви» в почти позитивистском понимании. В статье 1938 г. картина еще была двойственной: хотя и ставилась под сомнение необходимость «одобрения»

⁴⁷ Эссе вошло в состав «Критических текстов» (Textos Críticos / Ed. J. A. Barbosa. São Paulo, 1986), и здесь я пользуюсь данным изданием.

⁴⁸ «Эссе об интерпретации Достоевского» (Ensaio de interpretação dostoiévskiana // Carpeaux O. M. A Cinza do Purgatório. Rio de Janeiro, 1942. P. 5–20), которое Мейер считает «завоеванием глубины».

⁴⁹ Meyer A. Nota Sobre Dostoiévski // Correio do Povo. 1935. 12 maio. P. 10. (Курсив мой. — Б. Г.)

⁵⁰ Meyer A. Sempre Dostoiévski (1947) // Textos Críticos. P. 376. (Курсив мой. — Б. Г.)

Вогюэ, но в отношении «сострадания» Мейер все еще находился под влиянием литературной критики конца столетия. В 1947 г. такая двойственность была преодолена. Критика «сентиментальных толкователей» была доведена до предела, на смену им пришли новые подходы в интерпретации.

Из неоднократно переработанной статьи родилось эссе «Подпольный человек» («O homem subterrâneo»), в котором сравниваются русский и бразильский писатели. В конце 1930-х гг. Мейер отделился от двух литературных концепций конца предыдущего столетия: сострадания Достоевского и мягкого скептицизма Машаду де Ассиса. Тот факт, что, рассуждая о злоключениях Кубаса, Мейер обратился к повести 1864 г., не случаен: эта книга произвела впечатление на Ницше, как замечает Мейер в заключительной части «Заметки о Достоевском»; она же в католическом восприятии А. Ногейры была единственным «безбожным» произведением писателя. Достоевский, каким он представлен в эссе Мейера, до крайности *жесток*: достаточно обратить внимание на характеристики, которыми награждаются герои произведений: сознательная инерция, отчаяние, удовольствие мазохиста, саморазрушение, глубокая тяжесть, болезненное сознание, интроспективная слабость, инцестуальное сладострастие, чудовищный мозг. В обоих случаях эта психология отражалась и на форме: повествование «Посмертных записок Браза Кубаса» Машаду де Ассиса и «Подпольного духа» Достоевского (если бы автор использовал более достойный перевод, со словом «Записки» в названии, параллель стала бы еще более явной) состоит из прыжков, эллипсов и сомнений⁵¹.

Это сопоставление позволило Мейеру существенно скорректировать представления о творчестве Машаду де Ассиса. Тяжелый, глубокий, безбожный талант Достоевского изменил его образ. Впрочем, и русский писатель предстал в новом свете в сравнении с Машаду де Ассисом. Попутно были добавлены некоторые характеристики, полностью отсутствовавшие на тот момент в критических отзывах о его произведениях в Бразилии, — это ирония и юмор.

В статье 1935 г. Мейер был готов обрести независимость от «сентиментальных толкователей». Но другой аспект все еще связывал его с традицией конца столетия — *сам текст произведения*. Ведь «L'esprit souterrain» не является точным переводом «Записок из подполья». Это несуществующая книга Достоевского, адаптированная И. Д. Гальпериным-Каминским, который соединил в ней две повести⁵². Или, как сказал сам Мейер в 1938 г., это «благонамеренные старания первых переводчиков отрезать все ненужное». Кажется, этот факт не был замечен комментаторами важной параллели между Машаду де Ассисом и Достоевским: Ордынов, сравниваемый с Кубасом, *не является персона-*

⁵¹ Meyer A. O Homem Subterrâneo (1935) // Textos Críticos. 1986. P. 195.

⁵² *Dostoievski F. L'esprit souterrain / Trad. Halpérine-Kaminsky et Ch. Morice. P., 1886.*

жем «Записок из подполья». Это герой монтажа, созданного французской культурой 1886 г. под давлением издателей, которые стремились угодить вкусам читателей.

В наличии имелись более свежие издания: «Подпольный голос», переведенный Б. де Шлезером, а также книги на немецком языке, которые Мейер мог прочитать⁵³. Однако он, подвергавший сомнению критическое наследие, не усомнился в переводах.

Ситуация, в которую попал Мейер в 1930-е гг., со своими преимуществами и ограничениями, дает нам достоверную картину положения вещей: в ней попытка создания литературной критики, которой было бы под силу внести ясность в сложные отношения между искусством и мыслью русского писателя (цель почти академического уровня), основывается на устаревшем, ненадежном и искажающем текст произведения издании. И при помощи этой амальгамы Мейеру удалось изменить направление бразильской литературной историографии в прочтении вечно ускользающего Машаду де Ассиса.

Перевод с португальского Е. Волковой

⁵³ Dostoïevski F. La voix souterraine / Trad. Boris de Schloezer. Paris, 1926.